



Александр Радашкевич и Марина Гарбер. «Эмигрантская лира – 2012». Льеж.  
*Фото Александра Мельника*

**Александр Радашкевич:** Прошло больше двух лет, дорогая Марина, с момента нашей с тобой беседы, опубликованной в этой же рубрике, которая оставила светлый след у меня на душе: <https://sites.google.com/site/emliramagazine/avtory/garber-marina/garber-marina-2016-1-1>. Но тогда ты меня «пытала», а теперь настал мой черёд, чему я искренне рад. Итак, мы встретились впервые на «Эмигрантской лире» осенью 2011 года. Тогда ты была ещё в числе финалистов, а потом мы уже не раз сидели вместе за столом финального жюри, как, впрочем, и за другими, гораздо менее формальными дружественными столами, освещённые и восхищённые голубым пламенем поэтического

«пунша»). Ещё тогда меня поразил и покориł драматизм твоих стихов, их высокое лирическое напряжение и то искреннее волнение, с которым ты всегда читала, и тогда, и потом.

Отпускаю тебя! Престољ,  
Новоявленный принц на час.  
Здесь готический шпиль стрелой  
Свод царапает, а у нас

Перезвон водосточных труб...  
Не о том с тобой говорю!  
Мальчик с родинкою у губ,  
Неспособных сказать «люблю».

Я услышал твою великую тѣзку (недаром твой диплом посвящён «Поэме конца»), ощутил неделимые «гордость и робость», увидел львиноголовый водопад кудрей молодой Пиаф и вдруг заволновался вместе с тобой и почувствовал благодатный катарсический ком в горле. А образы-видения всё наполняли переполненный воздух и влекли в сладостно-гибельные пучины, и кружили в водоворотах нешуточной бури очень личного и неповторимого свойства. Воистину «Гетто избранничеств! Вал и ров...»

Знаешь, нам нравится думать, что соловьи умирают от разрыва сердца на кристальной вершине своих умопомрачительных трелей, и отклики этого соловьиного инфаркта я и услышал тогда в твоём сомнамбулическом чтении льющихся щедрым, почти жертвенным потоком стихов. «Мы пишем с тобой длинно», – сказала ты мне позднее с заговорщической улыбкой. В ту, уже далѣкую пору большую часть года я жил в Чехии, точнее в живописнейшей старой Богемии, со средневековым замком в окне над письменным столом, возвращаясь к себе в Париж лишь наездами, а ты – в уютном великом герцогстве Люксембургском, что мне безумно импонировало в силу врождѣнных романтико-монархических симпатий. Словом, внутренний союз был скреплѣн полем искромѣтного притяжения ещё до того, как ты впервые подошла ко мне, чтобы передать привет от Валентины Синкевич. Но об этом чуть позже. Ты вспоминаешь все наши «Лиры»?

**Марина Гарбер:** Конечно, вспоминаю, Саша, особенно ту, первую встречу, которую ты столь ярко, столь чувственно описываешь. Тот выезд был первым отрывом от дома, от своих, и оказался трёх-четырёхдневной сменой декораций, несколько встряхнувшей меня: вот, оказывается, есть жизнь вне привычных стен, другая жизнь. Так сложилось, что я всегда находилась вдали от так называемого литпроцесса, и трудно сказать, чем продиктовано моѣ отшельничество –

характером или внешними, не всегда зависящими от меня обстоятельствами. Помнится, я провела фестивальные дни в колоссальном напряжении, стыдясь своих стихов, собственного косноязычия, скованности, которую окружающие иногда принимают за гордыню. На первый фестиваль я приехала по приглашению Андрея Грицмана, с которым в то время была лишь шапочно знакома, и Саши Мельника, организатора фестиваля, которого не знала вовсе. Постепенно это стало ежегодной традицией – позволять себе короткодневную передышку, встречаться с другими, в обывательском смысле, не совсем нормальными людьми, одержимыми «одной, но пламенной страстью» и занимающимися таким бесполезным делом, как писание стихов. Несколько лет спустя, на открытии одного из фестивалей я говорила о том, что представляется мне важным в такого рода встречах, и мысль эта проще простого: на фестивалях поэзии поэты слушают поэтов. Распределение мест, выдача грамот и переходящих вымпелов – дело десятое, символический довесок к основному. И ты вольно-невольно подтверждаешь мои ощущения в своём живописном вступлении.

**А. Р.:** На нашей последней совместной «Эмлире» мы ехали в одной машине, и я стал невольным свидетелем эпизода из лучших образцов итальянского неореализма. Твой маленький Маттео что-то лепетал по мобильнику, и ты утешала со слезами в голосе, по-итальянски, сначала его, потом дочку, с которыми почти никогда не расставалась. Я старался не вслушиваться из деликатности, но мне казалось, что, если обернусь, увижу Софи Лорен в одной из её лучших ролей, от которых в далёких кинозалах юности у меня бежали мурашки по коже. Оставшийся путь до Льежа мы говорили о чём-то фестивальном, но я чётко ощущал, что тебя нет в машине, что ты там, с ними, милыми горемыками, а со мной общается некая отвлечённая оболочка с лицом и мимикой Марины.

Говорят, что надо либо написать сказку, либо прожить её. Но мне кажется, что тебе легло по судьбе и то, и другое, причём в высокой драматической степени, как у твоей любимой Цветаевой, и это всегда слышно в твоих стихах. Я знаю не больше других (мы никогда не говорили с тобой на личные темы, понимая всё чисто инстинктивно), но совершенно очевидно, что тебе выпало и ярко романтическое, и глубоко трагичное, иначе ты бы не написала: «И будет жизнь, змеясь и серебрясь, – / На ниточке, на волоске – по краю...» Каковы твои отношения с так называемой реальностью, с посланными испытаниями, подручными радостями, рутиной будней и стихами, необоримо ищущими воплощения? Сколько Марин живёт в тебе, теперь уже под лучезарным небом Невады?

**М. Г.:** Ты знаешь, мне кажется, чтобы написать сказку, не обязательно сначала прожить её. Точнее, прожить необходимо, но это не всегда будет твоя личная сказка. Помнишь, Бродский писал, что можно пережить Хиросиму и не написать ни строчки? Все дело, по-видимому, во врождённой настроенности на всечеловеческую волну – как на сказку, так и на глубоко трагичное, о котором ты говоришь выше. Соль – в восприимчивости, которой в разной степени наделён каждый человек, но у пишущего эта степень всенепременно высока. Без ощущения общности с *другим* и *далеким* – в любви и отчаянии, в обыденном и выпадающем из повседневности (причём, общность сопереживания у поэта автоматически исключает шаблонность опыта и реакции на него) – пишущий обречён на безвыходное топтание на месте, на никого не колышущий самоповтор, самоокапывание и питание доступным «подножным кормом», по словам моей гениальной тётки, тут же вопрошавшей: «А – мечта на что? А – тоска на что?».

По долгу службы (я преподаю в университете) я достаточно близко общаюсь с молодыми людьми и заметила, что, когда прошу их рассказать о себе, довольно часто они не без гордости уточняют: «Я – простая девушка. Я – простой парень», – будто быть простым – это какое-то бесспорное достоинство. Сама же я – человек сложный, даже можно сказать, сложносоставной, как ты тонко заметил. Марин – много, впрочем, как и вышеупомянутых молодых людей, просто они ещё не знают об этом. Как тут не вспомнить Пиранделло и его роман «Некто, никто и сотня тысяч» – все мы многосоставны! И тем больше у нас ипостасей, чем больше людей, с которыми мы пересекаемся. К слову, это особенно четко проявляется в соцсетях, в той же «книге лиц» (facebook): столько лиц вокруг, и внушительная их часть похожа на «эмодзи» в солнечных очках, в стеклах которых отражаются искажённые версии твоего лица.

Моё обобщённое «я» – это трудно дающийся баланс между мной «матерью», мной «женой», мной «сестрой», мной «дочерью», мной что-то там пишущей в свободное от других loves и обязательств время... В общем-то, это одна из причин, по которым я не могу, не имею права причислять себя к поэтам: будучи делом и страстью моей жизни, поэзия, как видишь, – последнее звено в вышеприведённом фрагменте очень длинной цепочки. «Ибо раз голос тебе, поэт, / Дан, остальное – взято» (М.Ц.), – это, отчасти к счастью, отчасти к сожалению, не обо мне. И всё-таки, ничто не даст более полного представления обо мне, чем мои же стихи. При том, что стихи, как я уже говорила, – не обязательно обо мне или о моей жизни, – это самое честное, что я могу сказать о себе, – нужно лишь уметь их читать, как любые стихи. Как там, у остроумнейшего из ирландцев? «Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и вы услышите

правду» (Уайльд).

**А. Р.:** Ты очень трогательно отреагировала, когда я потерял маму, и вспомнила, конечно, о своей. Потом я увидел у тебя в «фейсбуке» её удивительное лицо, которое до сих пор у меня перед глазами. Что-то невероятное читается в её глазах, и эхо этой невероятности опять же слышится в твоих стихах. Я никогда не спрашивал своих собеседников о родителях, но весь наш разговор, как и следовало ожидать, пошёл вне рамок моих обычных вопросов. Скажи, пожалуйста, о ней.

**М. Г.:** Мама действительно была красавицей. И внешне, и внутренне она всю жизнь как бы оправдывала свое имя: Белла. Имя, как известно, обязывает. На стенах нашей киевской квартиры висели её фотопортреты, некоторые из которых, кстати, выставлялись на фотовыставках, а один, под названием «Характер», даже удостоился какой-то премии. В этом не было ничего от самолюбования, от, упаси Господи, семейного культа личности, – я даже не уверена, что мама знала, насколько она красива. Но так получилось, что мы с детства были окружены этой красотой. У Джозефа Эпштейна есть отличное эссе «О лице», в котором он, по-моему, очень точно пишет о том, как, рассматривая фотографии любимых, мы вычитываем в дорогих лицах только то, что уже знаем о них, – причём любовь, ум, доброта и страдание считываются куда чаще, чем глупость, скука и пустота. Вполне естественно, что я вижу в мамином лице то, что знаю о ней: силу духа, благодаря которой её недолгая жизнь продлилась многим дольше ещё в детстве напророченного докторами срока; не наносную, не поверхностную светлость бытия, проявлявшуюся, прежде всего, в реакции на жизненные перипетии и в отношениях с людьми. По духу она всегда была моложе своих дочерей и была лучшим другом каждой из нас. Думаю, что чувство обязательности у меня – от родителей. Мама научила меня читать – вскользь, между делом, ткнув пальцем в азбуку: «А – арбуз, Б – букварь, дальше – сама». Точно так же, не отрываясь от домашних дел, она пела или вслух, по памяти читала стихи, – и меня, ещё не понимавшую о чём, но уже чувствовавшую, как звучали слова, завораживали и классический Тютчев, и популярный тогда Окуджава, и мало кому известная Ширман... В дошкольном детстве я была тихой и застенчивой, куда в большей степени, чем сейчас, и, будучи естественным образом вытесненной «в себя, в одиноличье чувств», тяготилась своим одиночеством. Помню, как мама нашла выход: «Читай книги. Тот, кто много читает, не бывает одинок». Возможно, она имела в виду литературу как внутренний тыл, но тогда я истолковала её слова иначе: будь *homo legens*, человеком читающим, и к тебе потянутся люди. Одним словом, была в моём подходе к чтению дюжая толика

прагматизма. Сама мама читала запойно, волнами. Одна из таких, накрывших её волн, по её же словам, выпала на тот период, когда она вынашивала и потом кормила меня – с книгой в руках. Так что выражение «впитать любовь к чему-либо (в моем случае – к книгам) с молоком матери» – приложимо ко мне в буквальном смысле.

## **А. Р.:**

Я тебя отдала бы волку, да не отдам,  
Потому что и чёрт не съест, и Господь не выдаст,  
Вдоль пустой дороги помятый ржавеет хлам –  
С октября-ноября оставшееся на вынос.

Я скормила бы птицам, но поздно, ищи-свищи,  
Обломились ветки, хрустят под ногами гнёзда,  
Золотые обертки и лоскуты парчи –  
Голубиный скарб случайным прохожим роздан.

Это из твоего стихотворения, посвящённого Валентине Алексеевне Синкевич. В моей жизни пожилые люди тоже сыграли огромную роль, и они как бы передавали меня по эстафете друг другу, начиная с моей бабушки, потом Н.Я. Рыкова, Алексис Раннит, Ирина Одоевцева, Кирилл Померанцев, Великий князь с супругой, к которым я был очень привязан и чисто по-человечески... Валентина Синкевич (1926–2018), замечательный поэт, переводчик, критик, эссеист, которая ушла от нас так недавно. По моим ощущениям это была одна из кармических встреч твоей жизни. Мне никогда не довелось её видеть, но ещё со времён моей жизни в Америке она печатала меня в своём знаменитом филадельфийском альманахе «Перекрёстки», переименованном потом во «Встречи», и каждый раз я получал очень добрые и мудрые письма от неё. Несколько лет назад я был тронут тем, что она вспомнила в своей статье «Сухое сияние» один из моих переводов Алексиса Раннита, о котором я совершенно забыл, и я прочитал его заново, как бы её глазами, и вернулся в давно откатившую эпоху жизни. Но тебя связывало с ней не только литературное сотрудничество, но и глубокая, доверительная, полная любви и восхищения дружба...

**М. Г.:** Валентина была первым «литературным» человеком, которому я осмелилась показать свои беспомощные рифмованные попытки, в которых она, как последовало из её ответа, увидела «божью искру». Это был 1991–92 год, не помню точно. Я до сих пор не знаю, что подвигло её на ответ, скорее всего, не стихи, а моя самонадеянная приписка о том, что, независимо от её мнения, стихи писать не

перестану. Завязалась переписка, потом первая встреча, потом ещё и ещё... Куда бы ни заносила меня жизнь, как бы ни поворачивала, мы не терялись, регулярно переписывались или созванивались. Наша дружба продлилась больше четверти века, и теперь уже никогда не прервётся. Нельзя сказать, что это были безоблачные отношения, мы нередко спорили и не соглашались, обижали и обижались, но никогда не рвали. Ты прав, Саша, это было нечто большее, чем дружба, Валентина называла меня своим любимым поэтом и духовной дочерью. Это была близость близких и, между тем, очень разных людей, как бывает при кровном родстве. Она многому меня научила, не только касательно «ремесла», не только поэтическому, критическому и редакторскому, но и, безусловно, человеческому. За два года до её ухода я написала эссе о Валентине, озаглавив его цветаевским словосочетанием: «Страсть благодарности» (опубликовано в альманахе «Связь времен», 2016). Позволю себе привести отрывок из этого эссе-письма об уроках Валентины Синкевич: «Никогда не недооценивай значения самообразования, этот навык не преподадут ни в одном университете. Радуйся чужим победам, будь доброй вестницей и щедро делись светом. Хулу и похвалу приемли не равнодушно, нет, а адекватно, – прежде всего, отдавая себе отчёт, от чьего лица они исходят. Не состязайся с рядом стоящим, только с самим собой. Не стыдись своих ошибок, стыдись душевной закоренелости, не позволяющей признать их. Держи голову ниже сердца. Не проси».



Валентина Синкевич и Марина Гарбер. Филадельфия, 2005 г.

*С задней обложки книги воспоминаний В. Синкевич. Фото И. Михалевича-Каплана.*

**А. Р.:** Кому бы ещё из числа судьбоносных встреч тебе хотелось сегодня отдать дань любви и признательности?

**М. Г.:** Большая часть встреч связана с «Эмигрантской лирой», конечно, – спасибо Саше Мельнику, без которого многие встречи вряд ли бы состоялись. Не буду перечислять всех тех удивительных людей, которые чаще, чем реже оказывались похожи на свои стихи. Их очень много, и со многими меня связывает либо дружба, либо тёплые отношения. Упомяну лишь тех, с кем общалась или общаюсь теснее и чаще, чем с остальными: мой друг и взыскательный критик Миша Шерб, светлые Ира Иванченко и Настя Андреева, остроумная Наташа Резник, добрейший Даня Чкония, пронизательный Саша Радашкевич и, безусловно, мудрый Вальдемар Вебер, который, если говорить о судьбоносности, любви и признательности, должен бы возглавить этот далеко не полный список. Вне «Лиры» – добавлю москвичей Бориса Кутенкова и Надю Делаланд, а также нью-джерсийца Григория Стариковского, замечательного поэта и переводчика, потрясающего эссеиста и прозаика, с которым мы подружились ещё в конце девяностых и одно время даже жили по соседству.

Но судьбоносные встречи не всегда происходят лицом к лицу. Книжки – вот «альменда» (название одного из поэтических сборников Ирины Евсы), та общая земля, на которой случаются странные и неожиданные или же закономерные и долгожданные сближения.

**А. Р.:** «Tosca», одно из моих любимых у тебя (отрывок, за неимением места):

Lucevano le stelle, миру – Рим,  
мельчают звёзды литерами в сноске.  
В два голоса, сломавшихся на «Тоске»,  
в антракте о высоком говорим.

О том, что жизнь ещё не умерла,  
как Stella Artois, вскипает пеной,  
чтоб трое за углом горячий тенор  
по горлам разливали из горла,

чтоб у партера снова всё сошлось –  
все выточки, все петельки, все планы,  
чтоб высветил прожектор у сопрано  
на шее увядающий засос.

(...)

Порт Сен-Мартен закончится дождём,  
ответом, предусмотренным в вопросе,  
и дело не в тебе, Каварадосси,  
а в сердце перечёркнутом моём.



Твои стихи, такие узнаваемые в своей особой раскалённо-отстранённой драматичности и своеобразные, в них весь твой облик, голос, метафорический водопад мировосприятия и острая призма мастерства. Это не поэтические игры на заданные темы и не кривое зеркало самолюбования. Стали ли они некой подмогой в жизни, наказанием, освобождением, воздухом, которым дышишь и в котором задыхаешься, смыслом жизни или попыткой её осмысления? И как ты пришла к ним?

**М. Г.:** Стихи – это ничего из перечисленного по отдельности и, в то же время, всё вышеупомянутое в совокупности. Назвать их исключительно «подмогой» означало бы несколько принизить и стихи, и того, кто их читает; есть в такой параллели что-то от сравнения поэзии с публичной психотерапией: «А я не желаю присутствовать при чьих-либо лечебных процедурах!» – однажды вполне закономерно возмутился таким подходом один известный редактор. Любая попытка мотивировать поэзию обречена на её подгон под сложившиеся чужие суждения – редактора, критика, читателя. Кстати, Пуччини и его «Тоска» не раз попадали под огонь критиков, якобы психологически и эмоционально устроенных гораздо сложнее и утонченнее этой музыки. Мне больше по душе твой вымышленный соловей, порхающий в начале нашей беседы и поющий на разрыв, – певец, которого мы не стали бы спрашивать, зачем он поёт? Поёт, потому что – соловей. Или, как говорят китайцы: поёт, потому что есть песня.

В детстве я мечтала стать невестой (полагая, что это такая профессия), клоуном, учителем, телеведущим программы о книгах (вслух рассказывала о прочитанном голый стене, в которую упирался письменный стол), поэтом, – именно в такой очередности и, грубо обобщая, можно сказать, что всё сбылось. Свой первый стишок, кстати, я сочинила в семь лет, по дороге домой после циркового представления: он был написан от первого – клоунского – лица. Что общего у перечисленных ипостасей? Актерство, сцена и бесспорный эгоцентризм. Вообще, трудно себе представить более бесцеремонное занятие, чем вторжение в чужую жизнь со своими стихами. В замятинской антиутопии «Мы», помнится, мелькнуло одно из самых точных и ёмких из известных мне определений поэзии: «беспардонный соловьиный свист».

Если когда-нибудь решусь на книгу, то «Тоску», моё единственное «оперное» стихотворение, как и обещала, я посвящу тебе. Не знаю, чьи это слова, но у меня они ассоциируются с тобой: «Если на словах из арии Каварадосси «e tuioio disperato» («и я умираю в отчаянии») на ваших глазах не проступают слёзы, то что-то не так либо с тенором, либо с вами». У тебя, я знаю, – проступают.

**А. Р.:** Ещё как. То же говорят и о «Травмати»: если на второй арии Виолетты...

Могла бы ты поделиться своим самым большим разочарованием в жизни и в людях?

**М. Г.:** У меня нет разочарований в жизни *per se*, есть сожаления – о поступках, моих и чужих, о событиях, произошедших как по моей вине, так и по чужой, или же в силу не зависящих от нас обстоятельств. Если бы я могла, я бы не только изменила отдельные моменты в своём прошлом (ну, например, никогда бы не начала курить), но и переписала бы целые куски в истории человечества. Но если обобщённое человечество практически не способно извлечь уроки из прошлого, то отдельно взятый индивид подвержен переменам (и курить я когда-нибудь брошу). Из человеческих дурных качеств я не терплю завистливость, агрессивность и наглость; втройне – если этими недостатками наделён один человек. Однако прежде чем разочаровываться в других, я разочаровываюсь в себе: не многого ли я ожидала от конкретного человека, и в нём ли загвоздка, или же в моём ошибочном представлении о нём? В целом, я снисходительна к дальним и требовательна к близким – детям, родным, друзьям, студентам, – но не более чем к самой себе.

**А. Р.:** Ты видишь, что поэзия безвозвратно уведена из жизни сегодняшних людей, несмотря на стремительно поглощающую литературу интернет-жизни самонадеянного графоманства и вульгаризации. Избранничество уходит из неё на глазах, язык изживает себя в жалком стандартном примитиве, утрачивается и драгоценная преемственность. Каким видится тебе будущее искусства поэтического слова, и есть ли оно?

**М. Г.:** «Жижка» – очень точное определение, но я бы не ограничивала параметры её распространения виртуальным пространством. В самом интернете, в этом чудесном изобретении, я, пожалуй, нахожу больше положительного: расстояния сократились, доступ к текстам и людям упростился, появилась обратная связь, исчезло ощущение вакуума. Но «жижка» есть, и под ней я подразумеваю то общее «интонационное болото», в котором мы, пишущие, топчемся (себя в это безликое «мы» я не без сожаления тоже включаю). Я не имею в виду завсегдатаев сайта стихи.ру, – не потому, что они плохо пишут, а потому, что я не знаю, что происходит на этом сайте: одни его поругивают, но не читают, а если читают и плюются, то зачем читают? По-моему, об этом сайте вообще не стоит говорить, раз уж это – вне.

Однако нынешний период в русской поэзии мне представляется расцветом: сколько замечательных поэтов пишет сейчас! И очень, очень

много не замечательных, а, скажем так, «хороших» поэтов. И проблема именно в них, а не в любителях с сайта стихи.ру, которые варятся в своём «стихирном» котле и никому не мешают, – мне так уж точно не мешают, я их попросту не вижу. Проблема в том, что эти «хорошие» поэты пишут интонационно одинаково. Я как-то предложила издавать традиционный сборник «лучших стихов года» без указания имен, и, если не ошибаюсь, такая попытка была позже предпринята. Иногда, прокручивая ленту фейсбука и прочитывая десятки «хороших» стихотворений, нередко даже очень хороших, я пропускаю имя автора и потом зачастую не могу без подглядывания с точностью сказать, кто автор. Им может быть один из сотни «хороших» поэтов (повторю: я – в их числе). Ощущение моветона, большого повтора, хождения по кругу, хорового исполнения нескольких арий, эха в ущелье, заевшей пластинки, и даже если всякая новая песня – о чём-то своём, она исполняется голосом, едва отличимым от десятков других голосов. Тут же оговорюсь, что уникальность интонации – лишь один из нескольких равноценных ингредиентов. Есть и такие поэты, которые бубнят сугубо «свою» мелодию, только слушать её не интересно. Однако полного рецепта у меня нет. Впрочем, его ни у кого нет.

Ощущение утраты «драгоценной преемственности» возникает в том случае, если рассматривать соцсеть как плодородную почву, в то время как она – лишь окно, вертикаль – вширь, а не вверх и не вглубь. Упомянутый тобой примитив существовал всегда, во все времена, просто в нашу виртуальную эпоху он стал более очевиден, сподручен. Если перечитать критику двадцатых-тридцатых, то можно убедиться: те же сетования, те же опасения... И ответ можно найти у той же Цветаевой: «Корни Державина, подземным ходом полтораста с лишком лет шедшие в будущее, чтобы возникнуть новым ростком... [...] Корни поэзии – в самой поэзии, суть корни самой поэзии». И поскольку русская поэзия *уже* существует, то прорасти она будет где угодно, когда и в ком духу будет угодно.

**А. Р.:** Что бы ты пожелала молодым людям, только пробующим своё неловкое и даже корявое перо, но уже зачастую говорящим, в рамках нынешней антиэтики, «моё творчество», «мои произведения»?

**М. Г.:** Вряд ли я вправе давать кому-либо советы, но, раз уж ты спрашиваешь, то посоветовала бы перечитать выше приведённые «уроки» Валентины Синкевич: не состязайся, не стыдись / стыдись, не проси... Не проси, придут и дадут сами, а если не дадут, значит, ты не стоишь того. У молодых людей, да и не очень молодых, нередко амбиции значительно превышают дарование, и это несоответствие – источник многих терзаний и обид. Пройдут годы, и не будет иметь

значения, кого хвалили современники, кого «раскручивали» мэтры, кому аплодировали стоя... Всё это – пена, и она сойдёт. Во времени останется голый текст, или не останется. Я не знаю лучшего судьи, чем время.

**А. Р.:** Вижу, что иногда сотни людей реагируют на твои публикации на «фейсбучной» странице, обычно восторженно, но порой злобно и даже разъярённо. Одна особа дошла почти до истерики и оскорблений. Хотя, казалось бы, что ей Гекуба? Твои стихи задевают в людях некую сверхчувствительную струнку самосознания, берут за живое, что и есть высший пилотаж для поэта. Что бы ты пожелала от сердца своим недоброжелателям?

**М. Г.:** Ты знаешь, Эдуард Асадов тоже ведь что-то задевал в людях, и поклонников, точнее, поклонниц, у него было в тысячу раз больше, чем у меня. Вряд ли это что-нибудь доказывает насчёт его (или моей) поэзии. В фейсбуке образовалось определённое сообщество читателей, людей в большинстве своём добрых и чувствительных, готовых совершенно искренне отозваться на всё, что им понятно, а раз понятно, то – близко. И это касается отзывов не только на мои стихи. Возможно, я рискую показаться неблагодарной, но мы живём в эпоху неразличимых поэтов, поэтов-двойников, поэтому и читателя не в чем винить. Я сдержанно реагирую на похвалу, мне достаточно десятка дорогих мне голосов. Хула – тоже важно, от кого исходит. Иногда это карьерист от поэзии (хотя, казалось бы, что может быть нелепее?), а иногда это обделённые вниманием люди. Обижаться на них не стоит, поскольку не спровоцированные оскорбления в мой адрес на самом деле не имеют ко мне ни малейшего отношения и говорят исключительно об оскорбляющем.

**А. Р.:** Понимаю, что список классиков и ушедших с почившим веком больших поэтов будет слишком велик, но назови, пожалуйста, по-настоящему близких или созвучных тебе сегодняшних поэтов.

**М. Г.:** Я люблю тех поэтов, читая которых, я до конца не понимаю, как «сделаны» их стихотворения, почему «срабатывают», откликаются с такой силой? Я пытаюсь разобраться, читаю и перечитываю, пишу о них, иногда, как мне кажется, даже что-то нащупываю, но нечто более важное непременно ускользает, потому что всякий раз я заново оказываюсь, по Мандельштаму, в «царстве неожиданности». Это, вероятно, и есть тот недостающий ингредиент *настоящего*: когда узнаваемый, не похожий ни на чей другой голос способен удивить, снова и снова. По этому признаку – не по

созвучности, а порой даже по *не-созвучности* – я выбираю любимых и совершенно не похожих между собой поэтов: Владимир Гандельсман, Ирина Евса, Александр Кабанов... Они узнаваемы по первой строчке, а во второй – уже неожиданны. Но полный список любимых, конечно же, гораздо длиннее.

**А. Р.:** Каким стихотворением тебе хотелось поделиться сегодня с нашим внимательным и добрым читателем?

**М. Г.:** Вернусь, пожалуй, к образу клоуна из моего детства. Вот такое давнишнее стихотворение:

\* \* \*

Кинотеатр – обшарпанный, старенький, тесный –  
скоро закроется, как обещали давно.  
Там невидимка, бессменный киношник небесный  
крутит над нами любимое наше кино.

Свет выключает, и крутит – прилежно, бессонно,  
рвёт целлулоид, приладив к экрану кресты.  
Плохо побритый, похожий на Люка Бессона,  
главный герой-победитель, наверное, – ты.

Кажется вечным сеанс, но осталось недолго,  
скоро, ох, скоро нам будет легко и темно.  
Чьё это тело из нежного снежного шёлка?  
Чьё это на пол сползает, искрясь, кимоно?

В бархате кресел расправятся плечи партера,  
и на минуту хрустеть перестанет попкорн:  
протагонист покорён, торжествует гетера!  
Он – это ты. Ну, а ты, разумеется, – он.

А в стороне, в эпизодах, за кадром, у кассы,  
будто не знает, что тоже играет в кино,  
женщина-клоун дурацкие строит гримасы, –  
это печально, а нам почему-то смешно.

Здесь, на галёрке, мы ждём эпицентра картины,  
от Тарантино развязки любви на крови.  
Эти улыбки сквозь слёзы Джульетты Мазины –  
неподражаемы и, вероятно, мои.

Новые трюки, но стар и зачитан сценарий,  
к месту пришлась электронная трель соловья.  
В киносюжете, как в Библии: твари по паре,  
и посему эта дурочка с дудочкой – я.

**А. Р.:** Есть вопрос, который тебе хотелось бы себе задать и на который, возможно, у тебя нет ответа?

**М. Г.:** Есть такой вопрос, но на него нет ответа, да он и не нуждается в ответе, достаточно того, *как* и *кем* он был задан.

Если всё на свете было,  
если время выжато и висит, как бельё,  
если плесень расписывается на стене  
и идут санитары, чтоб вынести в простыне  
что-то страшное, отработавшее своё,  
то зачем затеяно бытие?

Это отрывок из стихотворения Владимира Гандельсмана «Элегия. Со стороны».

**А. Р.:** «Настанет день, когда и я исчезну / С поверхности земли...» Какую надпись ты могла бы прочесть на памятнике твоему земному пути, который, без сомнения, будет и долгим, и ярким, и, конечно, плодотворным?

**М. Г.:** Если перед смертью я буду в смешливом настроении, то хотела бы, чтобы это цветаевское четверостишие украшало мой памятник, с указанием автора, естественно:

Не думай, что здесь – могила,  
Что я появлюсь, грозя...  
Я слишком сама любила  
Смеяться, когда нельзя!

Но, если серьезно, мне не нужен памятник, не нужен гроб – сделанный на века, безвыходный, беспросветный, даже в землю не позволяющий уйти, обязывающий родных и обрекающий их на ненужные ритуалы. На кладбище скорбят, могила препятствует памяти о *живом* человеке. Я бы хотела, чтобы мой прах развеяли над морем. Мне безразлично, над каким.

**А. Р.:** Море – оно чудесным образом пришло и в моё посвящение тебе трёхлетней давности. Позволь, следуя твоему примеру, им и завершу нашу беседу, но прежде хочу поблагодарить тебя, что ни на один из неудобных вопросов ты не ответила обтекаемой отговоркой, за прямоту, откровенность и честность.

## НА ПОЛЫННЫХ БЕРЕГАХ

*Марине Гарбер*

На полынных берегах, в поле ветошного цвета  
неприкаянного века мы допишем немые стихи,  
забредая понуро в прощальные парки у железобетонной черты,  
долистаем безгласные книги над пыльным килем письменных столов,  
где уложены любовно ненаписанные письма  
и сутулятся рамки выцветавших лиц, в море ветреного цвета  
заплывая безысходно, мы ещё дочитаем ревниво друг друга,  
и голых строк, мерцающих подводным серебром,  
мы нежно выложим и скань, и зернь под рыхлым небом  
безответным, прошитым тропами белёсыми и вдоль, и поперёк.  
На подлунных берегах, в поле каменного цвета мы допишем немые  
стихи на руинах отпетого века и спорхнём с последней ветки  
неким утром непреложным, как замешкавшийся вяхирь, не качнув её.